

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ



*Начинается первый день Декамерона, в котором,
после того как автор рассказал, по какому поводу
собрались и беседовали выступающие впоследствии
лица, под председательством Пампиней,
рассуждают о чем кому заблагорассудится*



Всякий раз, прелестные дамы, как я, размыслив, подумаю, насколько вы от природы сострадательны, я прихожу к убеждению, что вступление к этому труду покажется вам тягостным и грустным, ибо таким именно является начертанное в челе его печальное воспоминание о прошлой чумной смертности, скорбной для всех, кто ее видел или другим способом познал. Я не хочу этим отвратить вас от дальнейшего чтения, как будто и далее вам предстоит идти среди стенаний и слез: ужасное начало будет вам тем же, чем для путников неприступная, крутая гора, за которой лежит прекрасная, чудная поляна, тем более нравящаяся им, чем более было труда при восхождении и спуске. Как за крайнею радостью следует печаль, так бедствия кончаются с наступлением веселья, — за краткой грустью (говорю: краткой, ибо она содержится в немногих словах) последуют вскоре утеха и удовольствие, которые я вам наперед обещал и которых, после такого начала, никто бы и не ожидал, если бы его не предупредили. Сказать правду: если бы я мог достойным образом повести вас к желаемой мною цели иным путем, а не столь крутою тропой, я охотно так бы сделал; но так как нельзя было, не касаясь того воспоминания, объяснить причину, почему именно приключились события, о которых вы прочтете далее, я принимаюсь писать, как бы побужденный необходимостью.

Итак, скажу, что со времени благотворного вочеловечения Сына Божия минуло 1348 лет, когда славную Флоренцию, прекраснейший из всех итальянских городов,

постигла смертоносная чума, которая, под влиянием ли небесных светил, или по нашим грехам посланная праведным гневом Божиим на смертных, за несколько лет перед тем открылась в областях востока и, лишив их бесчисленного количества жителей, безостановочно подвигаясь с места на место, дошла, разрастаясь плачевно, и до запада. Не помогали против нее ни мудрость, ни предусмотрительность человека, в силу которых город был очищен от нечистот людьми, нарочно для того назначенными, запрещено ввозить больных, издано множество наставлений о сохранении здоровья. Не помогали и умиленные моления, не однажды повторявшиеся, устроенные благочестивыми людьми, в процессиях или другим способом. Приблизительно к началу весны означенного года болезнь начала проявлять свое плачевное действие страшным и чудным образом. Не так, как на востоке, где кровотечение из носа было явным знамением неминуемой смерти, — здесь в начале болезни у мужчин и женщин показывались в пахах или под мышками какие-то опухоли, разраставшиеся до величины обыкновенного яблока или яйца, одни более, другие менее; народ называл их *gavoccioli* (чумными бубонами); в короткое время эта смертельная опухоль распространялась от указанных частей тела безразлично и на другие, а затем признак указанного недуга изменялся в черные и багровые пятна, появлявшиеся у многих на руках и бедрах и на всех частях тела, у иных большие и редкие, у других мелкие и частые. И как опухоль являлась вначале, да и позднее оставалась вернейшим признаком близкой смерти, таковым были пятна, у кого они выступали. Казалось, против этих болезней не помогали и не приносили пользы ни совет врача, ни сила какого бы то ни было лекарства: таково ли было свойство болезни, или невежество врачующих (которых, за вычетом ученых-медиков, явилось множество, мужчин и женщин, не имевших никакого понятия о медицине) не открыло ее причин, а потому не находило подходящих

средств, — только немногие выздоравливали и почти все умирали на третий день после появления указанных признаков, одни скорее, другие позже, — большинство без лихорадочных или других явлений. Развитие этой чумы было тем сильнее, что от больных, через общение с здоровыми, она переходила на последних, совсем так, как огонь охватывает сухие или жирные предметы, когда они близко к нему подвинуты. И еще большее зло было в том, что не только беседа или общение с больными переносило на здоровых недуг и причину общей смерти, но, казалось, одно прикосновение к одежде или другой вещи, которой касался или пользовался больной, передавало болезнь дотрагивавшемуся. Дивным покажется, что я теперь скажу, и, если б того не видели многие и я своими глазами, я не решился бы тому поверить, не то что написать, хотя бы и слышал о том от человека, заслуживающего доверия. Скажу, что таково было свойство этой заразы при передаче ее от одного к другому, что она приставала не только от человека к человеку, но часто видали и нечто большее: что вещь, принадлежавшая больному или умершему от такой болезни, если к ней прикасалось живое существо не человеческой породы, не только заражала его недугом, но и убивала в непродолжительное время. В этом, как сказано выше, я убедился собственными глазами, между прочим, однажды на таком примере: лохмотья бедняка, умершего от такой болезни, были выброшены на улицу; две свиньи, набредя на них, по своему обычаю, долго теребили их рылом, потом зубами, мотая их со стороны в сторону, и по прошествии короткого времени, закружившись немного, точно поев отравы, упали мертвые на злополучные тряпки.

Такие происшествия и многие другие, подобные им и более ужасные, порождали разные страхи и фантазии в тех, которые, оставшись в живых, почти все стремились к одной, жестокой цели: избегать больных и удаляться от общения с ними и их вещами; так поступая, воображали сохранить

себе здоровье. Некоторые полагали, что умеренная жизнь и воздержание от всех излишеств сильно помогают борьбе со злом; собравшись кружками, они жили, отделившись от других, укрываясь и запираясь в домах, где не было больных и им самим было удобнее; употребляя с большой умеренностью изысканнейшую пищу и лучшие вина, избегая всякого излишества, не позволяя кому бы то ни было говорить с собою и не желая знать вестей извне — о смерти или больных, — они проводили время среди музыки и удовольствий, какие только могли себе доставить. Другие, увлеченные противоположным мнением, утверждали, что много пить и наслаждаться, бродить с песнями и шутками, удовлетворять, по возможности, всякому желанию, смеяться и издеваться над всем, что приключается, — вот вернейшее лекарство против недуга. И как говорили, так, по мере сил, приводили и в исполнение, днем и ночью странствуя из одной таверны в другую, выпивая без удержу и меры, чаще всего устраивая это в чужих домах, лишь бы прослышали, что там есть нечто им по вкусу и в удовольствие. Делать это было им легко, ибо все предоставили и себя и свое имущество на произвол, точно им больше не жить; оттого большая часть домов стала общим достоянием, и посторонний человек, если вступал в них, пользовался ими так же, как пользовался бы хозяин. И эти люди, при их скотских стремлениях, всегда, по возможности, избегали больных. При таком удрученном и бедственном состоянии нашего города почтенный авторитет как Божеских, так и человеческих законов почти упал и исчез, потому что их служители и исполнители, как и другие, либо умерли, либо хворали, либо у них осталось так мало служилого люда, что они не могли отправлять никакой обязанности; почему всякому позволено было делать все, что заблагорассудится.

Многие иные держались среднего пути между двумя, указанными выше: не ограничивая себя в пище, как первые, не выходя из границ в питье и других излишествах, как

вторые, они пользовались всем этим в меру и согласно потребностям, не запирались, а гуляли, держа в руках кто цветы, кто пахучие травы, кто какое другое душистое вещество, которое часто обоняли, полагая полезным освежать мозг такими ароматами, — ибо воздух казался зараженным и зловонным от запаха трупов, больных и лекарств. Иные были более сурового, хотя, быть может, более верного мнения, говоря, что против зараз нет лучшего средства, как бегство перед ними. Руководясь этим убеждением, не заботясь ни о чем, кроме себя, множество мужчин и женщин покинули родной город, свои дома и жилья, родственников и имущества и направились за город, в чужие или свои поместья, как будто гнев Божий, каравший неправедных людей этой чумой, не взыщет их, где бы они ни были, а намеренно обрушится на оставшихся в стенах города, точно они полагали, что никому не остаться там в живых и настал его последний час.

Хотя из этих людей, питавших столь различные мнения, и не все умирали, но не все и спасались; напротив, из каждой группы заболели многие и повсюду, и как сами они, пока были здоровы, давали в том пример другим здоровым, они изнемогали, почти совсем покинутые. Не станем говорить о том, что один горожанин избегал другого, что сосед почти не заботился о соседе, родственники посещали друг друга редко, или никогда, или виделись издали: бедствие воспитало в сердцах мужчин и женщин такой ужас, что брат покидал брата, дядя племянника, сестра брата и нередко жена мужа; более того и невероятнее: отцы и матери избегали навещать своих детей и ходить за ними, как будто то были не их дети. По этой причине мужчинам и женщинам, которые заболели, а их количества не исчислить, не оставалось другой помощи, кроме милосердия друзей (таковых было немного) или корыстолюбия слуг, привлеченных большим, не по мере жалованьем; да и тех становилось не много, и были то мужчины и женщины грубого нрава, неприличные к такого рода уходу, ничего другого не умевшие

делать, как подавать больным, что требовалось, да присмотреть, когда они кончались; отбывая такую службу, они часто вместе с заработком теряли и жизнь. Из того, что больные бывали покинуты соседями, родными и друзьями, а слуг было мало, развилась привычка, дотоле неслыханная, что дамы красивые, родовитые, заболевая, не стеснялись услугами мужчины, каков бы он ни был, молодой или нет, без стыда обнажая перед ним всякую часть тела, как бы то сделали при женщине, лишь бы того потребовала болезнь, — что, быть может, стало впоследствии причиной меньшего целомудрия в тех из них, которые исцелялись от недуга. Умиравшие, кроме того, многие, которые, быть может, и выжили бы, если б им подана была помощь. От всего этого и от недостаточности ухода за больными, и от силы заразы, число умиравших в городе днем и ночью было столь велико, что страшно было слышать о том, не только что видеть. Оттого, как бы по необходимости, развились среди горожан, оставшихся в живых, некоторые привычки, противоположные прежним. Было в обычае (как то видим и теперь), что родственники и соседки собирались в доме покойника и здесь плакали вместе с теми, которые были ему особенно близки; с другой стороны, у дома покойника сходились его родственники, соседи и многие другие горожане и духовенство, смотря по состоянию усопшего, и сверстники несли его тело на своих плечах, в погребальном шествии со свечами и пением, в церковь, избранную им еще при жизни. Когда сила чумы стала расти, все это было заброшено совсем или по большей части, а на место прежних явились новые порядки. Не только умирали без сходбища многих жен, но много было и таких, которые кончались без свидетелей, и лишь очень немногим доставались в удел умильные сетования и горькие слезы родных; вместо того, наоборот, в ходу были смех и шутки и общее веселье: обычай, отлично усвоенный, в видах здоровья, женщинами, отложившими большею частью свойственное им чувство сострадания. Мало

было таких, тело которых провожали бы до церкви более десяти или двенадцати соседей; и то не почтенные, уважаемые граждане, а род могильщиков из простонародья, называвших себя беккинами и получавших плату за свои услуги: они являлись при гробе и несли его торопливо и не в ту церковь, которую усопший выбрал до смерти, а чаще в ближайшую, несли при немногих свечах или и вовсе без них, за четверью или шестью клириками, которые, не беспокоя себя слишком долгой или торжественной службой, с помощью указанных беккинов клали тело в первую попавшуюся незанятую могилу. Мелкий люд, а может быть, и большая часть среднего сословия представляли гораздо более плачевное зрелище: надежда либо нищета побуждали их чаще всего не покидать своих домов и соседства; заболевая ежедневно тысячами, не получая ни ухода, ни помощи ни в чем, они умирали почти без изъятия. Многие кончались днем или ночью на улице; иные, хотя и умирали в домах, давали о том знать соседям не иначе, как запахом своих разлагавшихся тел. И теми и другими умиравшими повсюду все было полно. Соседи, движимые столько же боязнью заражения от трупов, сколько и состраданием к умершим, поступали большей частью на один лад: сами либо с помощью носильщиков, когда их можно было достать, вытаскивали из домов тела умерших и клали у дверей, где всякий, кто прошелся бы, особенно утром, увидел бы их без числа; затем распоряжались доставкой носилок, но были и такие, которые за недостатком в них клали тела на доски. Часто на одних и тех же носилках их было два или три, но случалось не однажды, а таких случаев можно бы насчитать множество, что на одних носилках лежали жена и муж, два или три брата, либо отец и сын и т. д. Бывало также не раз, что за двумя священниками, шествовавшими с крестом перед покойником, увяжутся двое или трое носилок с их носильщиками следом за первыми, так что священникам, думавшим хоронить одного, приходилось хоронить шесть или восемь покойников, а иногда и более.

При этом им не оказывали почета ни слезами, ни свечой, ни сопутствием, наоборот, дело дошло до того, что об умерших людях думали столько же, сколько теперь об околевшей козе. Так оказалось воочию, что если обычный ход вещей не научает и мудрецов переносить терпеливо мелкие и редкие утраты, то великие бедствия делают даже недалеких людей рассудительными и равнодушными. Так как для большого количества тел, которые, как сказано, каждый день и почти каждый час свозились к каждой церкви, не хватало освященной для погребения земли, особенно если бы по старому обычаю всякому захотели отводить особое место, то на кладбищах при церквях, где все было переполнено, вырывали громадные ямы, куда сотнями клали приносимые трупы, нагромождая их рядами, как товар на корабле, и слегка засыпая землей, пока не доходили до краев могилы.

Не передавая далее во всех подробностях бедствия, приключившиеся в городе, скажу, что, если для него година была тяжелая, она ни в чем не пощадила и пригородной области. Если оставить в стороне замки (тот же город в уменьшенном виде), то в разбросанных поместьях и на полях жалкие и бедные крестьяне и их семьи умирали без помощи медика и ухода прислуги по дорогам, на пашне и в домах, днем и ночью безразлично, не как люди, а как животные. Вследствие этого и у них, как у горожан, нравы разнуздались, и они перестали заботиться о своем достоянии и делах; наоборот, будто каждый наступивший день они чаяли смерти, они старались не угождать себе будущие плоды от скота и земель и своих собственных трудов, а уничтожать всяким способом то, что уже было добыто. Оттого ослы, овцы и козы, свиньи и куры, даже преданнейшие человеку собаки, изгнанные из жилья, плутали без запрета по полям, на которых хлеб был заброшен, не только что не убран, но и не сжат. И многие из них, словно разумные, покормившись вдоволь в течение дня, на ночь возвращались сытые, без понукания пастуха, в свои жилища.

Но оставляя пригородную область и снова обращаясь к городу, можно ли сказать что-либо больше того, что по суровости неба, а быть может, и по людскому жестокосердию между мартом и июлем, — частью от силы чумного недуга, частью потому, что вследствие страха, обуявшего здоровых, уход за больными был дурной и их нужды не удовлетворялись, — в стенах города Флоренции умерло, как полагают, около ста тысяч человек, тогда как до этой смертности, вероятно, и не предполагали, что в городе было столько жителей. Сколько больших дворцов, прекрасных домов и роскошных помещений, когда-то полных челяди, господ и дам, опустели до последнего служителя включительно! Сколько именитых родов, богатых наследий и славных состояний осталось без законного наследника! Сколько крепких мужчин, красивых женщин, прекрасных юношей, которых не то что кто-либо другой, но Гален, Гиппократ и Эскулап признали бы вполне здоровыми, утром обедали с родными, товарищами и друзьями, а на следующий вечер ужинали со своими предками на том свете!

Мне самому тягостно так долго останавливаться на этих бедствиях; поэтому, опустив в рассказе о них то, что можно, скажу, что в то время, как наш город при таких обстоятельствах почти опустел, случилось однажды (как я потом слышал от верного человека), что во вторник утром в досточтимом храме Санта Мария Новелла, когда там почти никого не было, семь молодых дам, одетых, как было прилично по времени, в печальные одежды, простояв божественную службу, сошлись вместе; все они были связаны друг с другом дружбой, или соседством, либо родством; ни одна не перешла двадцативосьмилетнего возраста, и ни одной не было меньше восемнадцати лет; все разумные и родовитые, красивые, добрых нравов и сдержанно-приветливые. Я назвал бы их настоящими именами, если б у меня не было достаточного повода воздержаться от этого: я не желаю, чтобы в будущем какая-нибудь из них устыдилась за следующие

повести, рассказанные либо слышанные ими, ибо границы дозволенных удовольствий ныне более стеснены, чем в ту пору, когда в силу указанных причин они были свободнейшими не только по отношению к их возрасту, но и к гораздо более зрелому; я не хочу также, чтобы завистники, всегда готовые укорить человека похвальной жизни, получили повод умалить в чем бы то ни было честное имя достойных женщин своими непристойными речами. А для того, чтобы можно было понять, не смешивая, что каждая из них будет говорить впоследствии, я намерен назвать их именами, отвечающими всецело или отчасти их качествам. Из них первую и старшую по летам назовем Пампинеей, вторую — Фьямметтой, третью — Филоменой, четвертую — Эмилией, затем Лауреттой — пятую, шестую — Неифилой, последнюю, не без причины, Элизой. Все они, собравшись в одной части церкви, не с намерением, а случайно, сели как бы кружком и, после нескольких вздохов, оставив сказывание «Отче наш», вступили во многие и разнообразные беседы о злобе дня. По некотором времени, когда остальные замолчали, Пампинеея так начала говорить:

— Милые мои дамы, вы, вероятно, много раз слышали, как и я, что пристойное пользование своим правом никому не приносит вреда. Естественное право каждого рожденного — поддерживать, сохранять и защищать, насколько возможно, свою жизнь; это так верно, что иногда, случалось, убивали без вины людей, лишь бы сохранить себе жизнь. Если то допускают законы, пекущиеся о благоустройении всех смертных, то не подобает ли тем более нам и всякому другому принимать, не во вред никому, доступные нам меры к сохранению нашей жизни? Как соображу я наше поведение нынешним утром, да и во многие прошлые дни, и подумаю, как и о чем мы беседовали, я убеждаюсь, да и вы подобно мне, что каждая из нас боится за себя. Не это удивляет меня, а то, что при нашей женской впечатлительности мы не ищем никакого противодействия тому, чего каждая

из нас страшится по праву. Кажется мне, мы живем здесь как будто потому, что желаем или обязаны быть свидетелями, сколько мертвых тел отнесено на кладбище; либо слышать, поют ли здешние монахи, число которых почти свелось в ничто, свою службу в положенные часы; доказывать своей одеждой всякому приходящему качество и количество наших бед. Выйдя отсюда, мы видим, как носят покойников или больных; видим людей, когда-то осужденных властью общественных законов на изгнание за их проступки, неистово мечущихся по городу, точно издеваясь над законами, ибо они знают, что их исполнители умерли либо больны; видим, как подонки нашего города, под названием беккинов, упивающиеся нашей кровью, ездят и бродят повсюду на мучение нам, в бесстыдных песнях укоряя нас в нашей беде. И ничего другого мы не слышим, как только: такие-то умерли, те умирают; всюду мы слышали бы жалобный плач — если бы были на то люди. Вернувшись домой (не знаю, бывает ли с вами то же, что со мною), я, не находя там из большой семьи никого, кроме моей служанки, прихожу в трепет и чувствую, как у меня на голове поднимаются волосы; куда бы я ни пошла и где бы ни остановилась, мне представляются тени усопших, не такие, какими я привыкла их видеть, и пугающие меня страшным видом, неизвестно откуда в них явившимся. Вот почему и здесь, и в других местах, и дома я чувствую себя нехорошо, тем более что, мне кажется, здесь, кроме нас, не осталось никого, у кого, как у нас, есть и кровь в жилах, и готовое место убежища. Часто я слышала о людях (если таковые еще остались), которые, не разбирая между приличным и недозволенным, руководясь лишь вожделением, одни или в обществе, днем и ночью совершают то, что приносит им наибольшее удовольствие. И не только свободные люди, но и монастырские заключенники, убедив себя, что им прилично и пристало делать то же, что и другим, нарушив обет послушания и отдавшись плотским удовольствиям,

сделались распущенными и безнравственными, надеясь таким образом избежать смерти. Если так (а это очевидно), то что же мы здесь делаем? Чего ожидаем? О чем грезим? Почему мы безучастнее и равнодушнее к нашему здоровью, чем остальные горожане? Считаем ли мы себя менее ценными, либо наша жизнь прикреплена к телу более крепкой цепью, чем у других, и нам нечего заботиться о чем бы то ни было, что бы могло повредить ей? Но мы заблуждаемся, мы обманываем себя; каково же наше неразумие, если мы так именно думаем! Стоит нам только вспомнить, сколько и каких молодых людей и женщин похитила эта жестокая зараза, чтобы получить тому явное доказательство. И вот для того, чтобы, по малодушию или беспечности, нам не попасться в то, чего мы могли бы при желании избежать тем или другим способом, я считала бы за лучшее (не знаю, разделите ли вы мое мнение), чтобы мы, как есть, покинули город, как то прежде нас делали и еще делают многие другие, и, избегая паче смерти недостойных примеров, отправились честным образом в загородные поместья, каких у каждой из нас множество, и там, не переходя ни одним поступком за черту благоразумия, предались тем развлечениям, утехе и веселью, какие можем себе доставить. Там слышно пение птичек, виднеются зеленеющие холмы и долины, поля, на которых жатва волнуется, что море, тысячи пород деревьев и небо более открытое, которое, хотя и гневается на нас, тем не менее не скрывает от нас своей вечной красоты; все это гораздо прекраснее на вид, чем пустые стены нашего города. К тому же там и воздух прохладнее, большое обилие всего необходимого для жизни в такие времена и менее неприятностей. Ибо, если и там умирают крестьяне, как здесь горожане, неприятного впечатления потому менее, что дома и жители встречаются реже, чем в городе. С другой стороны, здесь, если я не ошибаюсь, мы никого не покидаем, скорее, поистине, мы сами можем почитать себя оставленными, ибо

наши близкие, унесенные смертью или избегая ее, оставили нас в таком бедствии одних, как будто мы были им чужие. Итак, никакого упрека нам не будет, если мы последуем этому намерению; горе и неприятность, а может быть, и смерть могут приключиться, коли не последуем. Поэтому, если вам заблагорассудится, я полагаю, мы хорошо и как следует поступим, если позовем своих служанок и, велев им следовать за нами с необходимыми вещами, будем проводить время сегодня здесь, завтра там, доставляя себе те удовольствия и развлечения, какие возможны по времени, и пребывая таким образом до тех пор, пока не увидим (если только смерть не постигнет нас ранее), какой исход готовит небо этому делу. Вспомните, наконец, что нам не менее пристало удалиться отсюда с достоинством, чем многим другим оставаться здесь, недостойным образом проводя время.

Выслушав Пампинею, другие дамы не только похвалили ее совет, но, желая последовать ему, начали было частным образом промеж себя толковать о способах, как будто, выйдя отсюда, им предстояло тотчас же отправиться в путь. Но Филомена, как женщина рассудительная, сказала:

— Хотя все, что говорила Пампинея, очень хорошо, не следует так спешить, как вы, видимо, желаете. Вспомните, что все мы — женщины, и нет между нами такой юной, которая не знала бы, каково одним женщинам жить своим умом и как они устраиваются без присмотра мужчины. Мы подвижны, сварливы, подозрительны, малодушны и страшливы; вот почему я сильно опасаюсь, как бы, если мы не возьмем иных руководителей, кроме нас самих, наше общество не распалось слишком скоро и с большим ущербом для нашей чести, чем было бы желательно. Потому хорошо бы позаботиться о том прежде, чем начать дело.

Тогда сказала Элиза:

— Справедливо, что мужчина — глава женщины и что без мужского руководства наши начинания редко приходят к похвальному концу. Но где нам достать таких мужчин?

Каждая из нас знает, что большая часть ее близких умерли, другие, оставшиеся в живых, бегут, собравшись кружками, кто сюда, кто туда, мы не знаем, где они; бегут от того же, чего желаем избежать и мы. Просить посторонних было бы неприлично; потому, если мы хотим себе благоуспения, надо найти способ так устроиться, чтобы не последовало неприятности и стыда там, где мы ищем веселья и покоя.

Пока дамы пребывали в таких беседах, в церковь вошли трое молодых людей, из которых самому юному было, однако, не менее двадцати пяти лет и в которых ни бедствия времени, ни утраты друзей и родных, ни боязнь за самих себя не только не погасили, но и не охладили любовного пламени. Из них одного звали Панфило, второго — Филострато, третьего — Дионео; все они были веселые и образованные люди, а теперь искали, как высшего утешения в такой общей смуте, повидать своих дам, которые случайно нашлись в числе упомянутых семи, тогда как из остальных иные оказались в родстве с некоторыми из юношей. Они увидели дам не скорее, чем те заметили их, почему Пампиней заговорила, улыбаясь:

— Видно, судьба благоприятствует нашим начинаниям, послав нам этих благоразумных и достойных юношей, которые будут нам руководителями и слугами, если мы не откажемся принять их на эту должность.

Неифила, лицо которой зарделось от стыда, ибо она была любима одним из юношей, сказала:

— Боже мой, Пампиней, подумай, что ты говоришь! Я знаю наверно, что ни об одном из них, кто бы он ни был, нельзя ничего сказать, кроме хорошего, считаю их годными на гораздо большее дело, чем это, и думаю, что не только нам, но и более красивым и достойным, чем мы, их общество было бы приятно и почетно. Но, так как хорошо известно, что они влюблены в некоторых из нас, я боюсь, чтобы не последовало, без нашей или их вины, злой славы или нареканий, если мы возьмем их с собою.

Сказала тогда Филомена:

— Все это ничего не значит: лишь бы жить честно и не было у меня угрызений совести, а там пусть говорят противное, Господь и правда возьмут за меня оружие. Если только они расположены пойти, мы вправду могли бы сказать, как Пампиней, что судьба благоприятствует нашему путешествию.

Услышав эти ее речи, другие девушки не только успокоились, но и с общего согласия решили позвать молодых людей, рассказать им свои намерения и попросить их, как одолжения, сопровождать их в путешествии. Вследствие этого, не теряя более слов и поднявшись, Пампиней, приходившаяся родственницей одному из юношей, направилась к ним, стоявшим и глядевшим на дам; весело поздравившись и объяснив свое намерение, она попросила их от лица всех не отказать сопутствовать им — в чистых и братских помыслах. Молодые люди подумали сначала, что над ними насмеются; убедившись, что Пампиней говорит серьезно, они с радостью ответили, что готовы, и, не затягивая дела, прежде чем разойтись, сговорились, что им предстояло устроить для путешествия. Велев надлежащим образом приготовить все необходимое и наперед послав оповестить туда, куда затеяли идти, на следующее утро, то есть в среду, на рассвете, дамы с несколькими прислужницами и трое молодых людей с тремя слугами, выйдя из города, пустились в путь и не прошли более двух малых миль, как прибыли к месту, в котором решено было расположиться на первый раз. Оно лежало на небольшом пригорке, со всех сторон несколько удаленном от дорог, полном различных кустарников и растений в зелени, приятных для глаз. На вершине возвышался палаццо с прекрасным, обширным двором внутри, с открытыми галереями, залами и покоем, прекрасными как в отдельности, так и в общем, украшенными замечательными картинами; кругом полянки и прелестные сады, колодцы свежей воды и погреб,

полные дорогих вин — что более пристало их знатокам, чем умеренным и скромным дамам. К немалому своему удовольствию, общество нашло к своему прибытию все выметенным; в покоях стояли приготовленные постели, все устлано цветами, какие можно было достать по времени года, и тростником. Когда по приходе все сели, Дионео, отличавшийся перед всеми другими веселостью и остроумными выходками, обратился к дамам:

— Дамы, ваш ум более, чем наша находчивость, привел нас сюда; я не знаю, что вы намерены делать с вашими мыслями; свои я оставил за воротами города, когда, недавно тому назад, вышел из них вместе с вами; поэтому либо приготовьтесь веселиться, хохотать и петь вместе со мною (насколько, разумеется, приличествует вашему достоинству), либо пустите меня вернуться к своим мыслям в постигнутый бедствиями город.

Весело отвечала ему Пампинейя, как будто и она точно так же отогнала от себя свои мысли:

— Ты прекрасно сказал, Дионео, будем жить весело, не по другой же причине мы убежали от скорбей. Но так как всё, не знающее меры, длится недолго, я, начавшая беседы, приведшие к образованию столь милого общества, желаю, чтобы наше веселье было продолжительным, и потому полагаю необходимым нам всем согласиться, чтобы между нами был кто-нибудь главным, которого мы почитали бы и слушались как набольшего и все мысли которого были бы направлены к тому, чтобы нам жилось весело. Но для того чтоб каждый мог испытать как бремя заботы, так и удовольствие почета и при выборе из тех и других никто, не испытав того и другого, не ощущал зависти, я полагаю, чтобы каждому из нас, по очереди, присваивались на день и бремя, и честь: пусть первый будет избран всеми нами, последующие назначаемы, как приблизится время вечере, по усмотрению того или той, кто в тот день был старшим; этот назначенный пусть все устраивает

и, на время своего начальства, располагает по своему произволу местом пребывания и распорядком нашей жизни.

Эти речи в высшей степени понравились, и Пампиней была единогласно избрана на первый день, тогда как Филомена, часто слышавшая в разговорах, как почетны листья лавра и сколько чести они доставляют достойно увенчанным ими, быстро подбежала к лавровому дереву и, сорвав несколько веток, сделала прекрасный, красивый венок и возложила его на Пампинею. С тех пор, пока держалось их общество, венок был для всякого другого знаком королевской власти или старшинства.

Став королевой, Пампиней велела всем умолкнуть и, распорядившись позвать слуг трех юношей и своих четырех служанок, среди общего молчания сказала:

— Для того чтоб мне первой подать вам пример, каким образом наше общество, преуспевая в порядке и удовольствии и без зазора, может существовать и держаться, пока нам заблагорассудится, я, во-первых, назначаю Пармено, слугу Дионео, моим сенешалем, поручая ему заботиться и печься о челяди и столовой. Сирис, слуга Панфило, пусть будет нашим расходчиком и казначеем, повинуюсь приказаниям Пармено. Тиндаро будет при Филострато и двух других молодых людях, прислуживая им в их покоях, когда его товарищи, отвлеченные своими обязанностями, не могли бы этому отдаться. Моя служанка Мизия и Личиска, прислужница Филомены, будут постоянно при кухне, тщательно заботясь о приготовлении кушаний, какие закажет им Пармено. Кимера и Стратилия, горничные Лауретты и Фьямметты, будут, по моему приказанию, убирать дамские комнаты и наблюдать за чистотою покоев, где мы будем собираться; всякому вообще дорожающему нашим расположением мы предъявляем наше желание и требование, чтобы, куда бы он ни пошел, откуда бы ни возвратился, что бы ни слышал или видел, он воздержался от сообщения нам каких-либо известий извне, кроме веселых. — Отдав вкратце эти

приказания, встретившие общее сочувствие, Пампиней встала и весело сказала: — Здесь у нас сады и поляны и много других приятных мест, пусть каждый гуляет в свое удовольствие, но лишь только ударит третий час, пусть будет здесь на месте, чтобы нам можно было обедать, пока прохладно.

Когда новая королева отпустила таким образом веселое общество, юноши и прекрасные дамы тихо направились по саду, разговаривая о приятных вещах, плетя венки из различных веток и любовно распевая. Проведя таким образом время, пока настал срок, назначенный королевой, и вернувшись домой, они убедились, что Пармено ревностно принялся за исполнение своей обязанности, ибо, вступив в залу нижнего этажа, они увидели столы, накрытые белоснежными скатертями, чары блестели как серебро и все было усеяно цветами терновника. После того как по распоряжению королевы подали воду для омовения рук, все пошло к местам, назначенным Пармено. Явились тонко приготовленные кушанья и изысканные вина, и, не теряя времени и слов, трое слуг принялись служить при столе; и так как все было хорошо и в порядке устроено, все пришли в отличное настроение и обедали среди приятных шуток и веселья. Когда убрали со стола, королева велела принести инструменты, так как все дамы, да и юноши умели плясать, а иные из них играть и петь; по приказанию королевы, Дионео взял лютню, Фьямметта — виолу, и оба стали играть прелестный танец, а королева, отослав прислугу обедать, составила вместе с другими дамами и двумя молодыми людьми круг и принялась тихо ходить в круговой пляске; когда она кончилась, начали петь хорошенькие, веселые песни. Так провели они время, пока королеве не показалось, что пора отдохнуть; когда она всех отпустила, трое юношей удалились в свои отделенные от дамских покои, где нашли хорошо приготовленные постели и все было полно цветов, как и в зале; удалились также и дамы и, раздевшись, пошли отдохнуть.

Только что пробил девятый час, как королева, поднявшись, подняла и других дам, а также и молодых людей, утверждая, что долго спать днем вредно. И вот все направились к лужайке с высокой зеленой травой, куда солнце не доходило ни с какой стороны. Веял мягкий ветерок; когда по приказанию королевы все уселись кругом на зеленой траве, она сказала:

— Вы видите, солнце еще высоко и жар стоит сильный, только и слышны что цикады на оливковых деревьях; пойти куда-нибудь было бы несомненно глупо. Здесь в прохладе хорошо, есть шашки и шахматы, и каждый может доставить себе удовольствие, какое ему более по нраву. Но если бы вы захотели последовать моему мнению, мы провели бы жаркую часть дня не в игре, в которой по необходимости состояние духа одних портится, без особого удовольствия других, либо смотрящих на нее, — а в рассказах, что может доставить удовольствие слушающим одного рассказчика. Вы только что успеете рассказать каждый какую-нибудь повесть, как солнце уже будет на закате, жар спадет, и мы будем в состоянии пойти в наше удовольствие, куда нам захочется. Если то, что я предложила, вам нравится (а я готова следовать вашему желанию), так и сделаем; если нет, то пусть каждый до вечернего часа делает, что ему угодно. — И дамы, и мужчины равно высказались за рассказы. — Коли вам это нравится, — сказала королева, — то я решаю, чтобы в этот первый день каждому вольно было рассуждать о таких предметах, о каких ему заблагорассудится. — И, обратившись к сидевшему по правую руку Панфило, она любезно попросила его начать рассказы какой-нибудь своей новеллой. Услышав приказ, Панфило начал, при общем внимании, таким образом.

НОВЕЛЛА I

*Сэр Чанпеллетто обманывает лживой исповедью
благочестивого монаха и умирает; негодяй при жизни,
по смерти признан святым и назван San Ciappelletto*

Милые дамы! За какое бы дело ни принимался человек, ему достоин начинать его во чудесное и святое имя Того, кто был Создателем всего сущего. Потому и я, на которого первого выпала очередь открыть наши беседы, хочу рассказать об одном из чудных Его начинаний, дабы, услышав о нем, наша надежда на Него утвердилась, как на незыблемой почве, и Его имя восхвалено было нами во все дни. Известно, что все существующее во времени — преходяще и смертно, исполнено в самом себе и вокруг скорби, печали и труда, подвержено бесконечным опасностям, которые мы, живущие в нем и составляющие его часть, не могли бы ни вынести, ни избежать, если бы особая милость Божия не давала нам на то силы и предусмотрительности. Нечего думать, что эта милость нисходит к нам и пребывает в нас за наши заслуги, а дается она по Его собственной благости и молитвами тех, кто, подобно нам, были смертными людьми, но, следуя при жизни Его велениям, теперь стали вместе с Ним вечными и блаженными. К ним, как к заступникам, знающим по опыту нашу слабость, мы и обращаемся, моля их о наших нуждах, может быть, не осмеливаясь возносить наши молитвы к такому судии, как Он. Тем больше мы признаем Его милосердие к нам, что, при невозможности проникнуть смертным оком в тайны божественных помыслов, нередко случается, что, введенные в заблуждение молвой, такого мы избираем перед Его величием заступника, который навеки Им осужден; а, несмотря на это, Он, для которого нет тайны, обращая более внимания на чистосердечие молящегося, чем на его невежество или

осуждение призываемого, внимает молящим, как будто призываемый ими удостоился перед Его лицом спасения. Все это ясно будет из новеллы, которую я хочу рассказать вам: я говорю «ясно» с точки зрения человеческого понимания, не божественного промысла.

Рассказывают о Мушьятто Францези, что, когда из богатого и именитого купца он стал кавалером и собирался поехать в Тоскану вместе с Карлом Безземельным, братом французского короля, вызванным и побужденным к тому папой Бонифацием, он увидел, что дела его там и здесь сильно запутаны, как то нередко у купцов, и что распутать их не легко и не скоро, и потому он решил поручить ведение их нескольким лицам. Все дела он устроил; только одно у него осталось сомнение: где ему отыскать человека, способного взыскать его долги с некоторых бургундцев? Причина сомнения была та, что он знал бургундцев за людей охочих до ссоры, негодных и не держащих слова, и он не в состоянии был представить себе человека настолько коварного, что он мог бы с уверенностью противопоставить его коварству бургундцев. Долго он думал об этом вопросе, когда пришел ему на память некий сэр Чеппарелло из Прато, часто хаживавший к нему в Париже. Этот Чеппарелло был небольшого роста, одевался чистенько, а так как французы, не понимая, что означает Чеппарелло, думали, что это то же, что на их языке chapel, то есть венок, то они и прозвали его не capello, а *Ciappelletto*, потому что, как я уже сказал, он был мал ростом. Так его всюду и знали за Чаппеллетто, и лишь немногие за сэра Чеппарелло. Жизнь этого Чаппеллетто была такова: был он нотариусом, и для него было бы величайшим стыдом, если бы какой-нибудь из его актов (хотя их было у него немного) оказался не фальшивым; таковые он готов был составлять по востребованию и охотнее даром, чем другой за хорошее вознаграждение. Лжесвидетельствовал он с великим удовольствием, прощенный и непрощенный; в то время во Франции сильно веровали в присягу, а ему

ложная клятва была нипочем, и он зlostным образом выигрывал все дела, к которым его привлекали с требованием: сказать правду по совести. Удовольствием и заботой было для него посеять раздор, вражду и скандалы между друзьями, родственниками и кем бы то ни было, и чем больше от того выходило бед, тем было ему милее. Если его приглашали принять участие в убийстве или каком другом дурном деле, он шел на то с радостью, никогда не отказываясь, нередко и с охотой собственными руками нанося увечье и убивая людей. Кошунствовал он на Бога и святых страшно, из-за всякой безделицы, ибо был гневлив не в пример другим. В церковь никогда не ходил и глумился неприличными словами над ее таинствами, как ничего не стоящими; наоборот, охотно ходил в таверны и посещал другие непристойные места. До женщин был охоч, как собака до палки, зато в противоположном пороке находил больше удовольствия, чем иной развратник. Украсть и ограбить он мог бы со столь же спокойной совестью, с какой благочестивый человек подал бы милостыню; обжора и пьяница был он великий, нередко во вред и поношение себе; шулер и зlostный игрок в кости был он отъявленный. Но к чему тратить слова? Худшего человека, чем он, может быть, и не родилось. Положение и влияние мессера Мушьятто долгое время прикрывали его зlostные проделки, почему и частные люди, которых он нередко оскорблял, и суды, которые он продолжал оскорблять, спускали ему. Когда мессер Мушьятто вспомнил о сэре Чеппарелло, жизнь которого прекрасно знал, ему представилось, что это и есть человек, какого надо для зlostных бургундцев: потому, велев позвать его, он сказал: «Ты знаешь, сэр Чаппеллетто, что я отсюда уезжаю совсем; между прочим, есть у меня дела с бургундцами, обманщиками, и я не нахожу человека, более тебя подходящего, которому я мог бы поручить взыскать с них мое. Теперь тебе делать нечего, и, если ты возьмешься за это, я обещаю снискать тебе расположение суда и дать тебе приличную

часть суммы, какую ты взыщешь». Сэр Чаппеллетто, который был без дела и не особенно богат благами мира сего, видя, что удаляется тот, кто долго был ему поддержкой и убежищем, немедля согласился, почти побуждаемый необходимостью, и объявил, что готов с полной охотой. На том сошлись. Сэр Чаппеллетто, получив доверенность мессера Мушьятто и рекомендательные королевские письма, отправился, по отъезде мессера Мушьятто, в Бургундию, где его никто почти не знал. Здесь, наперекор своей природе, он начал взыскивать долги мягко и дружелюбно и делать дело, за которым приехал, как бы предоставляя себе расходиться под конец. Во время этих занятий, пребывая в доме двух братьев флорентинцев, занимавшихся ростовщичеством и чествовавших его ради мессера Мушьятто, он заболел. Братья тотчас же послали за врачами и людьми, которые бы за ним ходили, и сделали все необходимое для его здоровья; но всякая помощь была напрасна, потому что, по словам медиков, сэру Чаппеллетто, уже старику, к тому же беспорядочно пожившему, становилось хуже со дня на день, болезнь была смертельная. Это сильно печалило братьев; однажды они завели такой разговор по соседству с комнатой, где лежал больной сэр Чаппеллетто: «Что мы с ним станем делать? — говорил один другому. — Плохо нам с ним: выгнать его, больного, из дому было бы страшным зазором и знаком неразумия: все видели, как мы его раньше приняли, потом доставили ему тщательный уход и врачебную помощь — и вдруг увидят, что мы выгоняем его, больного, при смерти, внезапно из дому, когда он и не в состоянии был сделать нам что-либо неприятное. С другой стороны, он был таким негодяем, что не захочет исповедаться и приобщиться святых тайн, и, если умрет без исповеди, ни одна церковь не примет его тела, которое бросят в яму, как собаку. Но если он и исповедается, то у него столько грехов и столь ужасных, что выйдет то же, ибо не найдется такого монаха или священника, который согласился бы отпустить их ему; так,

не получив отпущения, он все же угодит в яму. Коли это случится, то жители этого города, которые беспрестанно поносят нас за наше ремесло, представляющееся им несправедным, и которые не прочь нас пограбить, увидев это, поднимутся на нас с криком: “Нечего щадить этих псов ломбардцев, их и церковь не принимает!” И бросятся они на наши дома и, быть может, не только разграбят наше достояние, но к тому же лишат и жизни. Так или иначе, а нам плохо придется, если он умрет».

Сэр Чаппеллетто, лежавший, как я сказал, поблизости от того места, где они таким образом беседовали, при том изошренном слухе, какой часто бывает у больных, услышал, что о нем говорили. Велев их позвать к себе, он сказал: «Я не желаю, чтобы вы беспокоились по моему поводу и боялись потерпеть из-за меня. Я слышал, что вы обо мне говорили, и вполне уверен, что так бы все и случилось, как вы рассчитывали, если бы дело пошло так, как предполагаете. Но оно выйдет иначе. При жизни я так много оскорблял Господа, что, если накануне смерти я сделаю то же в течение какого-нибудь часа, вины от того будет ни больше, ни меньше. Потому распорядитесь позвать ко мне святого, хорошего монаха, какого лучше найдете, если таковой есть, и предоставьте мне действовать: я наверно устрою и ваши и мои дела так хорошо, что вы останетесь довольны». Братья, хотя и не питали большой надежды, тем не менее отправились в один монастырь и потребовали какого-нибудь святого, разумного монаха, который исповедал бы ломбардца, занемогшего в их доме; им дали старика святой, примерной жизни, великого знатока Св. Писания, человека очень почтенного, к которому все горожане питали особое, великое уважение. Повели они его; придя в комнату, где лежал сэр Чаппеллетто, и подойдя к нему, он начал благодушно утешать его, а затем спросил, сколько времени прошло с его последней исповеди. Сэр Чаппеллетто, никогда не исповедовавшийся, отвечал: «Отец мой, по обыкновению

я исповедоваюсь каждую неделю по крайней мере один раз, не считая недель, когда и чаще бываю на исповеди; правда, с тех пор, как я заболел, тому неделя, я не исповедовался: такое горе учинил мне мой недуг!» — «Хорошо ты делал, сын мой, — сказал монах, — делай так и впредь; вижу я, что мало мне придется услышать и спрашивать, так как ты так часто бываешь на духу». — «Не говорите этого, святой отец, — сказал сэр Чаппеллетто, — сколько бы раз и как ни часто я исповедовался, я всегда имел в виду принести покаяние во всех своих грехах, о каких только я помнил со дня моего рождения до времени исповеди; потому прошу вас, честнейший отец, спрашивать меня обо всем так подробно, как будто я никогда не исповедовался. Не смотрите на то, что я болен: я предпочитаю сделать неприятное моей плоти, чем, потакая ей, совершить что-либо к гибели моей души, которую мой Спаситель искупил своею драгоценною кровью». Эти речи очень понравились святому отцу и показались ему свидетельством благочестивого настроения духа. Усердно одоббив такое обыкновение сэра Чаппеллетто, он начал его спрашивать, не согрешил ли он когда-либо с какой-нибудь женщиной? Сэр Чаппеллетто отвечал, вздыхая: «Отче, в этом отношении мне стыдно открыть вам истину, потому что я боюсь погрешить тщеславием». — «Говори, не бойся, никто еще не согрешал, говоря правду на исповеди или при другом случае». Сказал тогда сэр Чаппеллетто: «Если вы уверяете меня в этом, то я скажу вам: я такой же девственник, каким вышел из утробы моей матушки». — «Да благословит тебя Господь! — сказал монах. — Хорошо ты сделал и, поступая таким образом, тем более заслужил, что, если бы захотел, ты мог бы совершать противоположное с большей свободой, чем мы и все те, кто связан каким-либо обетом». Потом он спросил его, не разгневал ли он Бога грехом чревоугодия. «Да, и много раз», — отвечал сэр Чаппеллетто, глубоко вздохнув, потому что хотя он держал все посты в году, соблюдаемые благочестивыми людьми, и каждую неделю

привык по крайней мере три раза поститься на хлебе и воде, тем не менее он пил воду с таким наслаждением и охотой, с каким большие любители пьют вино, особливо устав после хождения на молитву либо в паломничестве; часто также у него являлся аппетит к салату из трав, какой собирают крестьянки, отправляясь в поле; иногда еда казалась ему более вкусной, чем следовало бы, по его мнению, казаться тому, кто, подобно ему, постничает по благочестию. На это отвечал монах: «Сын мой, эти грехи в природе вещей, легкие, и я не хочу, чтобы ты излишне отягчал ими свою совесть. С каждым человеком, как бы он ни был свят, случается, что пища кажется ему вкусной после долгого голода, а питье после усталости». — «Не говорите мне этого в утешенье, отец мой, — возразил Чаппеллетто, — вы знаете, как и я, что все, делаемое ради Господа, должно совершаться в чистоте и без всякой мысленной скверны; кто поступает иначе, грешит». Монах умилился: «Я очень рад, что таковы твои мысли, и мне чрезвычайно нравится твоя чистая, честная совесть. Но, скажи мне, не грешил ли ты любостыжанием, желая большего, чем следует, удерживая, что бы не следовало?» Отвечал на это сэр Чаппеллетто: «Я не желал бы, отец мой, чтобы вы заключили обо мне по тому, что я в доме у этих ростовщиков; у меня нет с ними ничего общего, я даже приехал сюда, чтобы их усомнить, убедить и отвратить от этого мерзкого промысла, и, может быть, успел бы в этом, если бы Господь не взыскал меня. Знайте, что отец оставил мне хорошее состояние, большую часть которого я подал, по его смерти, на милостыню; затем, чтобы самому существовать и помогать нищей братье во Христе, я стал понемногу торговать, желая тем заработать, всегда разделяя свои прибыли с божьими людьми, одну половину обращая на свои нужды, другую отдавая им. И так помог мне в том мой Создатель, что мои дела устраивались от хорошего к лучшему». — «Хорошо ты поступил, — сказал монах, — но не часто ли предавался ты гневу?» — «Увы, — сказал сэр

Чаппеллетто, — этому, скажу вам, я предавался часто. И кто бы воздержался, видя ежедневно, как люди безобразничают, не соблюдая Божьих заповедей, не боясь Божьего суда? Несколько раз в день являлось у меня желание — лучше умереть, чем жить, когда видел я молодых людей, гоняющихся за соблазнами, клянущихся и нарушающих клятву, бродящих по тавернам и не посещающих церкви, более следующих путям мира, чем путям Господа». — «Сын мой, — сказал монах, — это святой гнев, и за это я не наложу на тебя епитимии. Но, быть может, гнев побудил тебя совершить убийство, нанести кому-нибудь оскорбление или другую обиду?» — «Боже мой, — возразил сэр Чаппеллетто, — вы, кажется, святой человек, а говорите такие вещи! Да если бы у меня зародилась малейшая мысль совершить одно из тех дел, которые вы называли, неужели, думаете вы, Господь так долго поддерживал бы меня? На такие вещи способны лишь разбойники и злодеи; я же всякий раз, как мне случалось видеть кого-нибудь из таковых, всегда говорил: “Ступай, да обратит тебя Господь!”» Сказал тогда монах: «Скажи-ка мне, сын мой, да благословит тебя Господь, не лжесвидетельствовал ли ты против кого-нибудь, не злословил ли, не отбирал ли чужое против желания владельца?» — «Да, мессере, говорил я злое против другого: был у меня сосед, без всякого повода то и дело бивший свою жену; я однажды и сказал о нем дурное родственникам жены; такую я жалость почувствовал к этой бедняжке, которую он бог знает как колотил всякий раз, как напивался». — «Хорошо, — продолжал монах, — ты сказал мне, что был купцом; не обманывал ли ты кого, как то делают купцы?» — «Виноват, — отвечал сэр Чаппеллетто, — только не знаю, кого обманул: кто-то принес мне деньги за проданное ему сукно, я и положил их в ящик, не пересчитав, а месяц спустя нашел там четыре мелких монеты сверх того, что следовало; не видя того человека, я хранил деньги в течение года, чтобы отдать их ему, а затем подал их во имя Божие». — «Это дело

маловажное, ты сделал хорошо, так распорядившись», — сказал монах. Кроме того, еще о многих других вещах расспрашивал его святой отец, и на все он отвечал таким же образом. Монах хотел уже отпустить его, как сэр Чаппеллетто сказал: «Мессер, за мной есть еще один грех, о котором я не сказал вам». — «Какой же?» — спросил тот, а этот отвечал: «Я припоминаю, что однажды велел своему слуге вымести дом в субботу, после девятого часа, позабыв должное уважение к воскресенью». — «Маловажное это дело, сын мой», — сказал монах. «Нет, не говорите, что маловажное, — сказал сэр Чаппеллетто, — воскресный день надо нарочито чтить, ибо в этот день воскрес из мертвых Господь наш». Сказал тогда монах: «Не сделал ли ты еще чего?» — «Да, мессере, — отвечал сэр Чаппеллетто, — однажды, позабывшись, я плюнул в церкви Божьей». Монах улыбнулся. «Сын мой, — сказал он, — об этом не стоит тревожиться; мы, монахи, ежедневно там плюем». — «И очень дурно делаете, — сказал сэр Чаппеллетто, — святой храм надо паче всего содержать в чистоте, ибо в нем приносится жертва Божия». Одним словом, такого рода вещей он наговорил монаху множество, а под конец принялся вздыхать и горько плакать, что отлично умел делать, когда хотел. «Что с тобой, сын мой?» — спросил святой отец. Отвечал сэр Чаппеллетто: «Увы мне, мессере, один грех у меня остался, никогда я в нем не каялся, так мне стыдно открыть его: всякий раз, как вспомню о нем, плачу, как видите, и кажется мне, наверно Господь никогда не смилуетсЯ надо мной за это прегрешение». — «Что ты это говоришь, сын мой? — сказал монах. — Если бы все грехи, когда бы то ни было совершенные людьми или имеющие совершиться до скончания света, были соединены в одном лице и человек тот так же бы раскаялся и умилился, как ты, то столь велики милость и милосердие Божие, что Господь простил бы их по своей благодати, если бы Он их исповедал. Потому говори, не бойся». Но сэр Чаппеллетто продолжал сильно плакать: «Увы,

отец мой, — сказал он, — мой грех слишком велик, и я почти не верю, чтобы Господь простил мне его, если не помогут ваши молитвы». — «Говори без страха, — сказал монах, — я обещаю помолиться за тебя Богу». Сэр Чаппеллетто все плакал и ничего не говорил, а монах продолжал увещевать его. Долго рыдая, продержал сэр Чаппеллетто монаха в таком ожидании и затем, испустив глубокий вздох, сказал: «Отец мой, так как вы обещали помолиться за меня Богу, я вам откроюсь: знайте, что, будучи еще ребенком, я выбранил однажды мою мать!» Сказав это, он снова принялся сильно плакать. «Сын мой, — сказал монах, — и этот-то грех представляется тебе ужасным? Люди весь день богохульствуют, и Господь охотно прощает раскаявшихся в своем богохульстве; а ты думаешь, что Он тебя не простит? Не плачь, утешься; уверяю тебя, если бы ты был из тех, кто распял Его на кресте, Он простил бы тебе: так велико, как вижу, твое раскаяние». — «Увы, отец мой, что это вы говорите! — сказал сэр Чаппеллетто. — Моя милая мама носила меня в течение девяти месяцев денно и нощно; и на руках носила более ста раз; дурно я сделал, что ее выбранил, тяжелый это грех! Если вы не помолитесь за меня Богу, не простится он мне». Когда монах увидел, что сэру Чаппеллетто не осталось сказать ничего более, он отпустил его и благословил, считая его святым человеком, ибо вполне веровал, что все сказанное сэром Чаппеллетто правда. И кто бы не поверил, услышав такие речи от человека в час смертный? После всего этого он сказал: «Сэр Чаппеллетто, с Божьей помощью вы скоро выздоровеете, но, если бы случилось, что Господь призовет к себе вашу благословенную и готовую душу, не заблагорассудите ли вы, чтобы ваше тело было погребено в нашем монастыре?» — «Да, мессере, — отвечал сэр Чаппеллетто, — и я не желал бы другого места, так как вы обещали молиться за меня, не говоря уже о том, что я всегда был особенно предан вашему ордену. Потому прошу вас, как вернетесь к себе, распорядиться, чтобы мне принесли

истинное тело Христово, которое вы каждое утро освящаете на алтаре, ибо, хотя и недостойный, я желаю с вашего разрешения причаститься его, а затем удостоиться святого, последнего помазания, дабы, прожив в грехах, по крайней мере умереть христианином». Святой муж с радостью согласился, похвалил его намерение и сказал, что тотчас распорядится, чтобы ему все доставили. Так и было сделано.

Оба брата, сомневавшиеся, как бы не провел их сэр Чаппеллетто, поместились за перегородкой, отделявшей их от комнаты, где лежал сэр Чаппеллетто, и, прислушиваясь, легко могли слышать и уразуметь все, что сэр Чаппеллетто говорил монаху; слыша исповедь его проступков, они не раз готовы были прыснуть со смеха. «Вот так человек! — говорили они промеж себя, — ни старость, ни болезнь, ни страх близкой смерти, ни страх перед Господом, на суд которого он должен предстать через какой-нибудь час, ничто не отвлекло его от греховности и желания умереть таким, каким жил». Услышав, что его обещали похоронить в церкви, они перестали заботиться о дальнейшем. Вскоре после того сэр Чаппеллетто причастился и, когда ему стало хуже через меру, соборовался; в тот же день, когда совершилась его примерная исповедь, вскоре после вечерни он скончался. Потому оба брата, приготовив на средства покойного приличные похороны и послав сказать монахам, чтобы они, по обычаю, явились вечером для всенощного бдения, а утром на погребение, устроили все для того необходимое. Благодетельный монах, исповедовавший его, услышав об его кончине, переговорил с приором монастыря и, созвав колокольным звоном братию, рассказал им, какой святой человек был сэр Чаппеллетто, судя по его исповеди. Он выразил надежду, что ради него Господь проявит многие чудеса, и убеждал монахов принять его тело с подобающею честью и благоговением. Приор и легковверные монахи согласились; вечером отправились они туда, где лежало тело сэра Чаппеллетто; отслужили над ним большую торжественную панихиду,

а утром в стихарях и мантиях, с книгами в руках и преднесением крестов, с пением отправились за телом и с большим почетом и торжеством отнесли его в церковь, сопровождаемые почти всем населением города, мужчинами и женщинами. Когда поставили его в церкви, святой отец, исповедовавший его, взойдя на амвон, начал проповедовать дивные вещи об его жизни и постничестве, девственности, об его простоте, невинности и святости и, между прочим, рассказал о том, что сэр Чаппеллетто, каясь, в слезах признал своим наибольшим грехом и как он насилу мог втолковать ему, что Господь простит ему. Затем, обратившись с укором к слушателям, он сказал: «А вы, проклятые Господом, хулите Бога и Матерь Его и весь райский лик по поводу каждой соломинки, попавшей вам под ноги!» И много еще другого говорил он о его доброте и чистоте. Вскоре своими речами, к которым деревенский люд относился с полной верой, он так вбил им в головы благоговейные помыслы, что по окончании службы все в страшной давке бросились целовать ноги и руки покойника, разорвали в клочки бывшую на нем одежду; и счастливым считал себя тот, кому досталась хоть частичка. Пришлось оставить его таким образом в течение всего дня, дабы все могли видеть и лицезреть его. Когда наступила ночь, его благолепно похоронили в мраморной гробнице, в одной капелле; на следующий день стал понемногу приходить народ, ставить свечи и поклоняться и приносить обеты и вешать восковые фигурки — по обещанию. Так возросла молва об его святости и почитание его, что не было почти никого, кто бы в несчастии обратился к другому святому, а не к нему. Прозвали его и зовут San Ciappelletto и утверждают, что Господь ради него много чудес проявил и еще ежедневно проявляет тем, кто с благоговением прибегает к нему.

Вот как жил и умер сэр Чаппеллетто из Прато; так-то, как вы слышали, он сделался святым. Я не отрицаю возможности, что он сподобился блаженства перед лицом Господа,



Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Проза:

